

(К 100-летию со дня рождения
А. П. Чехова)

В МОИХ ВОСПОМИНАНИЯХ

С. НАЙДЕНОВ

Трудно назвать писателей современников Чехова, на которых бы не отразилось влияние его могучего таланта. Мы впервые публикуем отрывок из воспоминаний известного драматурга С. А. Найденова. Он начал их писать в последние месяцы своей жизни и не успел завершить — смерть оборвала работу писателя. В этих записках, при всей их субъективности, являет образ Антона Павловича Чехова, замечательного писателя, учителя и воспитателя литераторов.

Я увидел его в первый раз издали. В моем дневнике, в тетради 1901 года 22-го сентября написано: «Самое лучшее, что я когда-либо видел на сцене, — это вчера «Три сестры» Чехова. Присутствие автора в театре воодушевляло артистов. Казалось, все были тронуты участью трех сестер и жестокой нелепостью жизни, и каждый внутри спрашивал себя: «Для чего жить? Ах, если бы я знал, для чего жить!» Тоска Чехова по жизни алилась в зрелища, и каждому захотелось иного, другого чего-то, но только не своей жизни. И Чехов стоял на сцене, неуловимо раскланиваясь, в синей парочке, в гаптуке баником, держа сложенные руки на животе, и был близким, родным для всех. Я всматривался в бинокль. Кажется, где-то его я видел. На Кузнецком мосту, в гвардейской конторе Юнкера и К°, или в другом каком-то банке? Такая мягкий, анемичный. По учению вселялся? Нет, нет, это не тот. Тот не умеет, не может улыбаться такой приятной улыбкой, как этот. Он клянцается... Кого-то называли от меня прожизн: «Какой мильяны».

А три сестры еще стоят под деревом у речушечного забора в застывших позах несчастных, одиноких женщин. Музыка уходит из города военных уже не слышно, но ее слышат эти застывшие в своих позах три сестры — зрители. Банка первого ряда. У старшей сестры спускается с плеча шаль и лежит на земле, как переломленное крыло птицы; ей никогда уже не уехать из своего глухого городка. У Машин прядь непокорных волос повисла на лицо — это придает ей вид отчаяния; младшая вскрикнула, но у ней глаза полны слез... Они молчат, но мелодия слов последних монологов трех сестер еще снимает сердце чеховской лирической тоской...

Эта лирическая чеховская тоска — не тоска отчаяния, не тоска пессимиста, не настроение уныния души, когда все противно и жить не хочется; это особенная, чеховская, оптимистическая тоска, от которой и плакать и жить хочется... хочется работать...

У меня в дневнике дальше вышпили-санных строк, на другой день после представления «Трех сестер», написано: «Написать во что бы то ни стало «Отъезд из Москвы», «Зрители», «Прощание» — это названия рассказов, которые захотелось написать под впечатлением «Трех сестер».

Вот какая учебно-духовная тоска лилась со сцены Художественного театра в тот вечер в зрители. И эта тоска — особенная, чеховская — чувствовалась и в Бененке, Чеховском доме в Ялте при его жизни там — нуксовалась между слов в беседах с ним, и она-то заставляет меня сейчас писать воспоминания о Чехове в каком-то лирическом тоне. Вспоминяя его, я вспоминаю его душу...

Может быть, это непонятно будет другим, но у меня иначе не пишется о нем воспоминания...

О милых спутниках, которые наш свет Своим присутствием живоютворили,
Не говори с тоской: их нет,
Но с благодарностью: были...

После представления «Трех сестер» захотелось жить, писать, работать — хотя была полна печали и тоски. И после вести о смерти автора еще, несмотря на все печаль прощедранной утраты, почувствовалось счастье человека в процессе творчества жизни вечной... Каково-то оптимистическое горе, — какая-то утешительная тоска. И горечь и утешение.

И это впечатление осталось у меня на всю жизнь и от личности Антона Павловича и от всего им написанного, что читалось в первый раз, как писала другая, как проходила в собственное, Чеховская книга и чеховский театр — друзья многих из нас.

Это было время, когда я сам мечтал, нет, не мечтал, а решил сделать себя писателем. Я купил себе письменный стол, кресло, лампу и дорогую чернильницу судинком. Я разделил последние оставшиеся у меня на последние деньги 900 рублей на год по 75 рублей на месяц, применяю в исполнении своей роковой план: год работать, а там, если ничего из этого не выйдет — уйти... Это была последняя ставка. Прошло несколько месяцев... Ко дню первого представления «Трех сестер» в Художественном театре у меня уже было написано три пьесы, одной из которых — «Дети Ванюшина» — суждено было сделаться со-ломинкой моего поколения. Пьеса имела редкий успех, сразу вошла в круг известных писателей того времени, утвердившая за мной звание «драматурга», дававшая большие средства жить несколько лет безбедно и... много-много тяжелого горе... Она же была

мне возможность видеть Антона Павловича через 4 месяца после того, как я увидел его в первый раз издали, увидеть вблизи, в феврале 1902 года в Ялте. Он отпер сам мне дверь, «Входите, входите. Я жду вас, ходил по балконам и поднимался».

Но прежде чем рассказать о встречах и беседах с Антоном Павловичем, о своих впечатлениях и отношении его ко мне, я считаю не лишним сказать здесь, каким я пришел к нему.

Я был тогда хоть и прославленным автором «Детей Ванюшина», но совсем еще не удачливым человеком в писательском отношении. Прежде я имел представления о писателе-художнике довольно смутные... И Чехов был первым, который показал мне воочию, как собой, что писатель совсем не то, что я думал о нем, и что дело его прежде всего — искусство слова и художественное мастерство. Писатель-драматург может заставить своим мастерством, своим искусством зрительный зал плакать и томиться лирической тоской о жизни «Трех сестер» и весело смеяться здоровым смехом, глядя на брачный свадебный пир нелепого чиновника Аллобоя. Я был уже человеком на первой молодости, а походил на того гимназиста, которого я сам однажды видел. Писать, писать, писать — он помог мне справиться с «проклятыми вопросами жизни».

Вот таким провинциальным я пришел в первый раз к Чехову. Мой портрет этого времени не будет закончен вполне, если я не упомяну о том, как я был измучен своим неожиданным успехом. Все радости, все плоды успеха были испорчены непрерывными мучениями творчества. Как и что писать дальше? От меня ждут, и ждут великогого, чуть ли не откровения. Вероятно, это было не совсем так, но мне казалось, что, конечно, так. Никто не радовался, что я написал хорошую пьесу, и еще хотели только посмотреть, что я напишу еще... Я добавлял тайно и уверяли, что у меня ничего не напишу. «Посмотрим, посмотрим, что вы еще напишете», — говорили в один голос. Я хватался за работу, нерничал, наваливал на себя много сюжетов и замыслов, вынес своих сил и томился большим одиночеством, чем никому не известным в углу «Барыш». Творчество превращалось в подневольный труд. Кругом масса новых знакомых и врагов, они являются непознано, так как нельзя было всем новым знакомым нравиться, даже просто за-помнить их лица: их было много, я — один. Я ездил всю зиму между Петербургом и Москвой, там и тут шла пьеса почти ежедневно. Денег лилось, как из рога изобилия. Нередко в «Ярех, как герой «Ижогого трупана Федя Протасов, я плакал от одиночества и от отравленного счастья так долго ожидаемого успеха, под чуждым пенне в отдельном кабинете.

К февралю я изнервничался настолько, что не мог больше оставаться в Москве. Решил ехать на юг. Поскорее на юг, отсюда, отсюда от всего этого нового, кошмарного, неестественно создавшегося положения и от случайных историй! думсмысленного характера, которые оставляли на сердце отвратительный осадок.

— Поезжайте в Ялту, — сказал мне как-то режиссер Адамович Корш в своем директорском кабинете, во время свидания, — моя пьеса... Отдохните. Там живет Чехов — душа человек. Истати, я ему пишу, что-то ставьте его «Свадьбу» и прошу разрешения.

Искра задела в голову: в Ялту, к Чехову. Вот человек чуткий, талантливый, которому можно рассказать все, что переживается мною. И он, конечно, скажет, как работать дальше. Он, он... Ялту, в Ялту! В Ялту! В Ялту! В Ялту! Корш живет Художественный театр. Еду на другой день в Крым. В кармане письмо Корша к Чехову...

1922 год